

На досуге в субботу

РАССКАЗ

В НОВЬ в этот таежный район я вернулся только через семь лет. Меня потянуло к старому знакомому, бывшему фронтовику Сергею Максимовичу Дроздову. Я гостил у него несколько раз и готовил о нем очерк к Дню Победы.

Таежная дорога зыбкая. Справа и слева огромные сосны, и даже в тихую погоду они шумят своими вершинами глухо и незлобно. И дорога впереди ровная, а машину кидает из стороны в сторону, будто катер в морскую качку.

Максимыч, как звали его в деревне, пользовался большим уважением. Мастер он во всех делах. Да и за советами к нему идет все соседи и даже руководители хозяйства.

Помнится раннее утро. Я спал на сеновале, на душистой свеженакошенной траве. Чуть-чуть забелел рассвет, одурело загорланили петухи, застучал дробным стуком молоток. Значит, Максимыч поутрянке спешит отбить литовку какой-то женщине, потерявшей мужа на войне.

Между очередью ударов влещу разговор. Глуховатый женский:

— Смотрю, Максимыч, на тебя и думаю: до чего же ты добрая душа.

— А твой Василий разве не добрый был? — спрашивает Максимыч. — То-то и оно. Обменяйся мы с ним судьбами и он моей Авдотье помогал бы...

Любил Максимыч делать все крепко, размашисто, красиво. Дело делал собачью конуру. Зато получился настоящий терем-теремок из сказки. Узоры ра-нообразные. Конек-горбунок на крыше скачет.

У стены стайки — верстак. Везде него и любил колдовать Максимыч.

Во второй приезд я был свидетелем разговора Максимыча с одним мужчиной.

Ему было за сорок. С виду серьезный и деловой. Лицо с крупными чертами. Глаза грустные, с невысказанной болью.

— Подсоветуй, Максимыч. Сладу в моей жизни не стало. Шесть лет с Катей мы вместе. Поначалу хорошо было. У нее двое и у меня столь же. А теперь сладу нет. Моя ребятня ей не по душе. На корню их изводит. Люда моя приедет из города, полную уборку сделает, чистоту наведет, а все не ладно ей. Хошь разводись. Не пью и вроде ласков с ней...

Максимыч долго молчал. Затягивался папироской, пускал дым тоненькой струйкой и вдруг раздумчиво, спокойно:

— Сладу нет — плохо. Откуда, ты думаешь, берется ма-чехи? А вот оттуда и берется. И женщина она неплохая, а как зачнет ревновать, к примеру я говорю, твоих детей к тебе — в защиту выдается за своих. Мать она и есть мать. Порадуйся над этой ситуацией. Ну, а в деталях и отношениях ваших внутри дома я не советчик.

Тайга неожиданно оборвалась, и впереди широко рас-палась прорезанная дорогой луговина. Зеленое поле казалось подвижным от струящейся теплоты и от того, что луговина быстро убегала назад.

СВОЙ СЛЕД

Дом Дроздова стоит чуть ли не на окраине. Я вышел из машины, подошел к калитке. Она оказалась открытой, сорванной с одной, нижней петли, да так и стояла прислоненной к забору.

Широкую ограду, поросшую желтоголовой ромашкой, пересекала слабая тропка. Сбита нижняя приступка у крыльца. Тележка на низких колесах стоит с поломанной оглоблей.

Конура пустая, почерневшая. Цепь ржавая, скрученная змеей. В углу ограды — сваленное точило. Сиротливо вытянулся вдоль стены верстак. Нет возле него смолистых, пахнущих тайгой стружек.

Я подумал с горечью: поки-нута усадьба. Нет хозяина. Уехали. Но вот из баньки, в которой любил париться Максимыч, выскочили черные курицы, забраллись в недостроенный рассадник и стали рыться. И в этом мне увиделись тоска и боль.

— Никак гость? — за спиной слышался слабый женский голос. Оглянулся. На крыльце стояла сухонькая, согнутая, с черным лицом старушка.

Вглядываюсь и с большим трудом узнаю в ней Евдокию Дроздову. Потухшие, почти ослепшие глаза слезливо вздрагивают, губы с поперечными морщинами будто стянуты шнурком. Мы смотрим друг на друга некоторое время. Наконец она вскидывает маленькую высохшую головку, подходит к краю крыльца и пытается спуститься ступенькой ниже и вдруг покачнулася. Я подбегаю и удерживаю ее.

Не произносит ни единого

Петр ШМАКОВ

слова. Медиа владет мне на плечи плоские, длинные руки, вздрагивает всем телом и плачет тихо, без рыданий и всхлипываний. Чувствуется: устала от постоянного плача, от повседневной горючей боли.

— Вспомнишь меня, сынок. Как же... Он привязался к тебе... — голос с хрипотцой, без всякой силы. Мы сели на скамейку, у стены дома, теперь уже без хозяина.

Приходит соседка Мария. Это ей отбивал литовку Максимыч в то время, когда я приезжал в первый раз.

— Смотрю, кто-то заглянул к Евдокии. Пришла вот. А я, батюшка, признала тебя. Ты у Максимыча попервости недельку гостил, а опосля три дня... На сеновале спать любил...

Помолчали. Я спросил, как все произошло. Случилось это в прошлом году. Прибалывал Максимыч давно.

— Он скрытный у меня был. О своей хвори никому не открывался, — говорила глухо Евдокия. — А тут и совсем слег.

Евдокия умолкла. Поднесла угол фартука к глазам, всхлинула.

— Зашла я к ней, — заговорила соседка, — а Евдокия в слезах, в горести. Спрашиваю, как с Максимычем, а она: мол, плох, плох совсем. Врача, говорю, вызывай. А она: травками я его. Раньше помогало...

А тут пришел, Ефрем вон, раньше еще был фельдшером, говорил, что из-за ноги Максимыч душу отдал. На фронте ногу выше колена немец отбил. Несоответствие в организме получалось. Ходит он, а тело в одну сторону больше склоняется, вот и вышло, мол, несоответствие. Так-то, милый. Оно так и есть, видно. Война, она еще никому добра не приносила.

Мария тоже заслезилась. — И шибче жалко, когда умирает-то добрый, хороший человек.

Я смотрел на запустевшую ограду и думал о том, что вот живет человек на земле, беспокоится о своем житье-бытье, создает для себя какие-то удобства. А приходит роковой день, и ему ничего не надо. А может, стоит жить ради того, чтобы оставить на земле свой след, память в сердцах людей? Добрую память...

И все-таки было больно соз-навать, что нет на земле доброго, хорошего человека — Максимыча. Особенно в этот теплый, солнечный день.

// Заветы
Ленина,
1976,
21 августа,
с. 4.